

A close-up portrait of a man's face, tinted in a deep red color. The man has dark hair and is looking slightly to the right with a subtle smile. The image is the background for the book cover.

красная книга русской прозы

Григорий Бакланов

Навеки — девятнадцатилетние

повести

Григорий Бакланов

Пядь земли

«ЭКСМО»

1959

Бакланов Г. Я.

Пядь земли / Г. Я. Бакланов — «Эксмо», 1959

ISBN 978-5-699-48205-4

Г.Я.Бакланов - известный русский писатель, по сценариям которого были сняты популярные фильмы «Познавая белый свет», «Был месяц май». Судьба простого человека на фронте - главная тема произведений о войне, написанных автором, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. В знаменитой «Пяди земли» война предстает как цепочка событий, в которой сосуществуют боевые действия, смерти и обыденная бытовая жизнь человека. Бакланов пишет о войне просто, хорошо зная фронтовую жизнь изнутри.

ISBN 978-5-699-48205-4

© Бакланов Г. Я., 1959

© Эксмо, 1959

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| ГЛАВА I | 5 |
| ГЛАВА II | 9 |
| ГЛАВА III | 19 |
| ГЛАВА IV | 25 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 28 |

Григорий Бакланов

Пядь земли

*Моей матери
Иде Григорьевне Кантор*

Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев, а были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам как друзья, как родные, как вы сами!

Юлиус Фучик

ГЛАВА I

Жизнь на плацдарме начинается ночью. Ночью мы вылезаем из щелей и блиндажей, потягиваемся, с хрустом разминаем суставы. Мы ходим по земле во весь рост, как до войны ходили по земле люди, как они будут ходить после войны. Мы ложимся на землю и дышим всей грудью. Роса уже пала, и ночной воздух пахнет влажными травами. Наверное, только на войне так по-мирному пахнут травы.

Над нами черное небо и крупные южные звезды. Когда я воевал на севере, звезды там были синеватые, мелкие, а здесь они все яркие, словно отсюда ближе до звезд. Дует ветер, и звезды мигают, свет их дрожит. А может быть, правда, есть жизнь на какой-то из этих звезд?

Луна еще не всходила. Она теперь всходит поздно, на фланге у немцев, и тогда у нас все освещается: и росный луг, и лес над Днестром, тихий и дымчатый в лунном свете. Но скат высоты, на которой сидят немцы, долго еще в тени. Луна осветит его перед утром.

Вот в этот промежуток до восхода луны к нам из-за Днестра каждую ночь переправляются разведчики. Они привозят в глиняных корчажках горячую баранину и во флягах – холодное, темное, как чернила, молдавское вино. Хлеб, чаще ячменный, синеватый, удивительно вкусный в первый день. На вторые сутки он черствеет и сыплется. Но иногда привозят кукурузный. Янтарно-желтые кирпичики его так и остаются лежать на брустверах окопов. И уже кто-то пустил шутку:

– Выбьют нас немцы отсюда, скажут: вот русские хорошо живут – чем лошадей кормят!..

Мы едим баранину, запиваем ледяным вином, от которого ломит зубы, и в первый момент не можем отдышаться: небо, горло, язык – все жжет огнем. Это готовил Парцвания. Он готовит с душой, а душа у него горячая. Она не признает кушаний без перца. Убедить его бессмысленно. Он только укоризненно смотрит своими добрыми, масляными и черными, как у грека, круглыми глазами: «Ай, товарищ лейтенант! Помидор, молодой барашек – как можно без перца? Барашек любит перец».

Пока мы едим, Парцвания сидит тут же на земле, по-восточному поджав под себя полные ноги. Он стрижен под машинку. Сквозь отросший ежик волос на его круглой загорелой голове блестят бисеринки пота. И весь он небольшой, приятно полный – почти невыносимый случай на фронте. Даже в мирное время считалось: кто пришел в армию худой – поправится, пришел полный – похудеет. Но Парцвания не похудел и на фронте. Бойцы зовут его «батано Парцвания»: мало кто знает, что в переводе с грузинского «батано» означает господин.

До войны Парцвания был директором универмага где-то в Сухуми, Потти или Зугдиди. Сейчас он связист, самый старательный. Когда прокладывает связь, взваливает на себя по три катушки сразу и только потеет под ними и таращит свои круглые глаза. Но на дежурстве спит. Засыпает он незаметно для самого себя, потом всхрапывает, вздрогнув, просыпается. Испуганно оглядывается вокруг мутным взглядом, но не успел еще другой связист папироску свернуть, как Парцвания опять уже спит.

Мы едим баранину и хвалим. Парцвания приятно смущается, прямо тает от наших похвал. Не похвалить нельзя: обидишь. Так же приятно смущается он, когда говорит о женщинах. Из его деликатных рассказов, в общем, можно понять, что у них в Зугдиди женщины не признавали за его женой монопольного права на Парцванию.

Что-то долго сегодня нет ни Парцвании, ни разведчиков. Мы лежим на земле и смотрим на звезды: Саенко, Васин и я. У Васина от солнца и волосы, и брови, и ресницы выгорели, как у деревенского парнишки. Саенко зовет его «Детка» и держится покровительственно. Он самый ленивый из всех моих разведчиков. У него круглое лицо, толстые губы, толстые икры ног.

Сейчас он рядом со мной лениво потягивается на земле всем своим большим телом. Я смотрю на звезды. Интересно, понимал ли я до войны, какое удовольствие вот так бездумно лежать и смотреть на звезды?

У немцев ударил миномет. Слышно, как над нами в темноте проходит мина. Разрыв в стороне берега. Мы как раз между батареей и берегом. Если прочертить мысленно траекторию, мы окажемся под ее высшей точкой. Удивительно хорошо потягиваться после целого дня сидения в окопе. Каждый мускул ноет сладко.

Саенко поднимает руку над глазами, смотрит на часы. Они у него большие, со множеством зеленых светящихся стрелок и цифр, так что мне со стороны можно разглядеть время.

– Долго не идут, черти, – говорит он своим тягучим голосом. – Жрать охота, аж тошнит! – И Саенко сплевывает в пыльную траву.

Скоро взойдет луна: у немцев уже заметно светлеет за гребнем. А миномет все бьет, и мины ложатся по дороге, по которой должны сейчас идти к нам разведчики и Парцвания. Мысленно я вижу ее всю. Она начинается у берега, в том месте, где мы с лодок впервые высадились на этот плацдарм. И начинается она могилой лейтенанта Гривы. Помню, как он, охрипший от крика, с ручным пулеметом в руках, бежал вверх по откосу, увязая сапогами в осыпавшемся песке. На самом вершине, под сосной, где его убило миной, теперь могила. Отсюда песчаная дорога сворачивает в лес, а там – безопасный участок. Дорога петляет среди воронок, но это не прицельный огонь, немец бьет вслепую, по площади, даже днем не видя своих разрывов.

В одном месте на земле лежит неразорвавшийся реактивный снаряд нашего «андрюши», длинный, в рост человека, с огромной круглой головой. Он упал здесь, когда мы были еще за Днестром, и теперь уже начал ржаветь и зарастать травой, но всякий раз, когда идешь мимо него, становится жутковато и весело.

В лесу обычно перекуривают, прежде чем идти дальше, последние шестьсот метров по открытому месту. Наверное, сидят сейчас разведчики и курят, а Парцвания торопит их. Он боится, что остынет баранина в глиняных корчажках, и потому укутывает корчажки одеялами, обвязывает веревками. Собственно, он мог бы не ходить сюда, но он не доверяет никому из разведчиков и сам каждый раз конвоирует баранину. К тому же он должен видеть, как ее будут есть.

Луна одним краем показалась уже из-за гребня. В лесу сейчас черные тени деревьев и полосами дымный лунный свет. Капли росы зажигаются в нем, и пахнет повлажневшими лесными цветами и туманом; он скоро начнет подниматься из кустов. Хорошо сейчас идти по лесу, пересекая тени и полосы лунного света...

Саенко приподнимается на локте. Какие-то трое идут в нашу сторону. Может быть, разведчики? До них метров сто, но мы не окликаем их: на плацдарме, ночью, никого не окликают

издали. Трое доходят до поворота дороги, и сейчас же рассыпавшаяся стайка красных пуль низко-низко проносится над их головами. С земли нам это хорошо видно.

Саенко опять ложится на спину.

– Пехота...

Позавчера это самое место днем, на «виллисе» пытался проскочить пехотный шофер. Под обстрелом он резко крутанул на повороте дороги и вывалил полковника. Пехотинцы кинулись к нему, немцы ударили из минометов, наша дивизионная артиллерия отвечала, и полчаса длился обстрел, так что под конец все перемешалось, и за Днестром прошел слух, что немцы наступают. Вытащить «виллис» днем, конечно, не удалось, и до ночи немцы тренировались по нему из пулеметов, как по мишени, всаживая очередь за очередью, пока не подождли наконец. Мы после гадали: пошлют шофера в штрафную роту или не пошлют?

Луна поднимается еще выше, вот-вот оторвется от гребня, а разведчиков все нет. Непонятно. Наконец появляется Панченко, ординарец мой. Издали вижу, что он идет один и в руке несет что-то странное. Подходит ближе. Унылое лицо, в правой руке на веревке – горлышко глиняной корчажки.

Панченко угрюмо стоит перед нами, а мы сидим на земле, все трое, и молчим. Становится вдруг так обидно, что я даже не говорю ничего, а только смотрю на Панченко, на этот черепок у него в руках – единственное, что уцелело от корчажки. Разведчики тоже молчат.

Мы целый день прожили всухомятку, и до следующей ночи нам уже никто ничего не принесет: мы едим по-настоящему раз в сутки. А завтра опять целый день обстрел, слепящее солнце в стекла стереотрубы, жара, и кури, кури в своей щели до одурения, разгоняя дым рукой, потому что на плацдарме немец и по дыму бьет.

– Какой дурак придумал носить мясо в корчажках? – спрашиваю я.

Панченко смотрит на меня укоризненно:

– Парцвания велел, чего ж вы ругаетесь? Он говорил, в глиняной посуде не так остывает. Еще одеялами их укутывал...

– А где он сам?

– Убило Парцванию...

Панченко кладет перед нами круглый ячменный хлеб, отцепляет от пояса фляжки с вином, сам садится в стороне, один, пожеывая травинку.

Оттого что мы день прожили всухомятку, вино сразу мягко туманит голову. Мы жуем хлеб и думаем о Парцвании. Его убило, когда он нес нам свои корчажки, завязанные в одеяла, чтоб – не дай бог! – в них не остыло за дорогу. Обычно он сидел вот здесь, по-восточному поджав полные ноги, и, пока мы ели, смотрел на нас своими добрыми, масляными и черными, как у грека, круглыми глазами, то и дело вытирая сильно потевшую после ходьбы загорелую голову. Он ждал, когда мы начнем хвалить.

– Тебя не ранило? – спрашиваю я Панченко.

Тот обрадованно пододвигается к нам.

– Вот! – показывает он штанину, у кармана навывлет пробитую осколком, и для убедительности продевает сквозь две дыры палец. И вдруг, спохватившись, поспешно достает из кармана завернутый в тряпочку желтый листовой табак. – Чуть было не забыл совсем.

Мы крошим в ладонях сухие, невесомые листья, стараясь не просыпать табак. Вдруг я замечаю у себя на ладони кровь и прилипшую к ней табачную пыль. Откуда она? Я не ранен, я только резал хлеб. На нижней корке хлеба тоже кровь. Все смотрят на нее. Это кровь Парцвании.

– Где вас накрыло? – спрашивает Саенко. Вместе со словами табачный дым идет у него изо рта: он всегда глубоко затягивается.

– В лесу. Как раз где снаряд «андрюши» лежит. Вот так мы шли, вот так он лежит. – Панченко чертит все это на земле. – Вот здесь мина упала. А Парцвания как раз с той стороны шел.

Это та самая минометная батарея, которую мы никак не можем засечь.

Ночью мы лежим с Васиным в одной щели. Саенко я отправил вместе с Панченко. Надо донести Парцванию до лодки, надо переправить его на ту сторону.

Щель узкая, но внизу, у самого дна, мы подрыли ее с боков, так что вполне можно спать вдвоем. Ночи все же холодные, а вдвоем даже под плащ-палаткой тепло. Трудно только переворачиваться на другой бок. Пока один переворачивается, второй стоит на четвереньках. Но больше подрыть нельзя, иначе снарядом может обрушить щель.

Через равные промежутки бьет тяжелая немецкая батарея, наши отвечают из-за Днестра через нас. Почему-то под землей разрывы всегда кажутся близкими. Это так называемый тревожащий огонь, всю ночь, до утра. Интересно, до войны люди страдали бессонницей, жаловались: «Целую ночь не мог уснуть: у нас под полом скребется мышь». А сверчок, так тот был целым бедствием. Мы каждую ночь спим под артиллерийским обстрелом и просыпаемся от внезапной тишины.

Я лежу сейчас и думаю о Парцвании, о хлебе, на котором осталась его кровь. Перед самой войной, когда я учился в десятом классе, был у нас вечер и нам бесплатно раздавали булочки с колбасой. Они были свежие, круглые, разрезанные наискось через верхнюю корку, и туда вставлено по толстому розовому куску любительской колбасы. Пока нам их раздавали, директор школы стоял рядом с буфетчицей, гордый: это была его инициатива.

Мы съели колбасу, а булочки после валялись во всех углах, за урнами, под лестницей. Мне вспоминается это сейчас как преступление.

Васин спит, посапывая. Мне хочется закурить, но табак у меня в правом кармане, а мы лежим на правом боку. Каждый раз, когда всплывает немецкая ракета, я вижу заросшую шею Васина и маленькое покрасневшее во сне ухо. Странно, у меня к нему почему-то почти отцовское чувство.

ГЛАВА II

Жарко. Против солнца все как в дыму. Горячий воздух дрожит над ближними высотами, они пустынные, будто вымершие. Там – немецкий передний край.

Пехотинцы отсыпаются за ночь, скорчившись на дне окопов, сунув руки в рукава шинелей. Каждую ночь они, как кроты, роют ходы сообщения, соединяют окопы в траншеи, а когда будет построена прочная оборона, все придется бросать и переходить на новое место. Это уже проверено.

Немцы тоже спят. Только наблюдатели с обеих сторон высматривают, где шевелится живое. Редко простучит пулемет – сухие вспышки его почти не видны против солнца, – и опять тишина. Дым разрыва подолгу плывет над передовой в знойном воздухе.

Позади нас за лесом – Днестр, весь залитый солнцем. Хорошо бы сейчас искупаться в Днестре. Но на войне другой раз сидишь у воды и не то что искупаться – напиться до ночи не можешь. На белых песчаных отмелях Днестра не найдешь сейчас следа босой пятки. Только следы сапог, следы колес, уходящие в воду, и воронки разрывов. А выше по берегу, среди виноградников, наливающих теплым соком, греются на припеке молдавские хутора, днем безлюдные. Над ними зной и тишина. Все это позади нас.

Я смотрю на пологие высоты в стереотрубу, смотрю каждый день до тошноты. Эх, как они нужны нам! Если бы мы их взяли, здесь сразу переменялась бы вся жизнь.

Васин тем временем готовит завтрак. Взрезал ножом банку свиной тушенки, поставил на бруствер, лезвие вытирает о штаны. Мы едим ее ложками, намазывая на хлеб. Едим не спеша: впереди целый день, а банка последняя. И оставлять мы тоже не любим.

Где-то близко слышны голоса. Я поворачиваю стереотрубу. Два пехотинца идут по полю с винтовками за плечами и разговаривают. Вот так просто идут себе и разговаривают, как будто ни немцев, ни войны на свете. Конечно, недавно мобилизованные, из-за Днестра. У этих удивительная особенность: где никакой опасности – перебегают, прячутся от каждого снаряда, летящего мимо, падают на землю – вот она, смерть! А где все живое носа не высунет – ходят в полный рост. Я однажды видел, как вот такой, только что присланный на фронт солдат, смелый по глупости, шел по минному полю в тылу у нас и рвал ромашки. Опытный, повоевавший пехотинец с умом не пройдет там, а этот ставил ногу, не выбирая места, и ни одна мина не взорвалась под ним. Метра два оставалось до края минного поля, когда ему крикнули. И он, поняв, где находится, больше уже шагу ступить не смог. Пришлось его оттуда снимать.

– Мало их, дураков, учат! – злится Васин.

Мы оба, бросив есть, следим за пехотинцами. Кто-то крикнул им из своего окопа. Они вовсе стали на открытом месте, на жаре, оглядываются: не поймут, откуда был голос. И немец почему-то не стреляет. От нас до них – метров тридцать; пройдут еще немного, и утренние длинные тени обоих головами достанут до нашего бруствера. Так и не поняв, кто звал их, пошли.

– Эй, кумовья, бегом! – не выдержал Васин.

Опять стали. Обе головы повернулись на голос в нашу сторону. Изменив направление, идут теперь к нам, Васин даже высунулся:

– Бегом, мать вашу!..

Я едва успеваю сдернуть его за ремень. Грохот! Сверху на нас рушится земля. Зажмурившись, сидим на дне окопа. Разрыв! Сжались. Еще разрыв! Над нами пронесит дым. Живы, кажется!.. В первый момент мы не можем отдышаться, только глядим друг на друга и улыбаемся, как мальчишки: живы!

– Вот сволочь! – говорю я.

Васин грязным платком вытирает лицо, оно у него все в земле. Смотрит мне на колено, глаза становятся испуганными. Смотрит на мой сапог, на землю и поднимает перевернутую банку тушенки. Там все перемешалось с песком. На колене у меня тает белый жир, по пыльному голенищу сапога ползет вниз кусок мяса, оставляя сальный след. Берегли... Ели не спеша...

– Таких убивать надо! – Васин зло швырнул банку. – Воевать не умеют, только других демаскируют.

И тут мы слышим стон. Жалкий такой, будто не взрослый человек стонет, а ребенок. Мы высовываемся осторожно. Один пехотинец лежит неподвижно, ничком, на неловко подогнутой руке, плечом зарывшись в землю. До пояса он весь целый, а ниже – черное и кровь, и ботинки с обмотками. На белом расщепленном прикладе винтовки тоже кровь. И тень от него на земле стала короткая, вся рядом с ним.

Другой пехотинец шевелится, ползет. Это он стонет. Мы кричим ему, но он ползет в другую сторону.

– Пропадет, дурак, – быстро говорит Васин и зачем-то начинает снимать сапоги, надавливая носком на задник. Босиком, скинув ремень, приготовился ползти за раненым.

Но из другого окопа высовывается рука и втягивает раненого под землю. Оттуда стоны слышны глуше. Винтовка его так и остается на поле.

И опять тишина и зной. Растаял дым разрывов. Жирное пятно у меня на колене стало огромным и грязным. Я глянул на убитого в стереотрубу. Свежая кровь блестит на солнце, и на нее уже липнут мухи, роятся над ним. Здесь, на плацдарме, великое множество мух.

От огорчения, что не удалось позавтракать, Васин берется за трофейный телефонный аппарат, что-то чинит в нем. Он сидит на дне окопа, поджав под себя босые ноги. Голова наклонена, шея мускулистая, загорелая. Ресницы у него длинные, выгоревшие на концах, а уши по-мальчишески оттопырены и тяжелые от прилившей крови. Потные волосы зачесаны под пилотку – отрастил чуб под моей мягкой рукой.

Я люблю смотреть на него, когда он работает. У него не по возрасту крупные, умелые руки. Они редко бывают без дела. Если рассказывают анекдот, Васин, подняв от работы глаза, слушает напряженно; на чистом лбу его обозначается одна-единственная морщина между бровей. И когда анекдот кончен, он все еще ждет, надеясь узнать нечто поучительное, что можно было бы применить к жизни.

– Ты кем был до войны, Васин?

– Я? – переспрашивает он и поднимает на меня карие, позолоченные солнцем глаза с синеватыми белками. – Жестянщик.

Потом подносит к лицу ладони, нюхает их:

– Вот уже не пахнут, а то все, бывало, жостью пахли.

И улыбается грустно и умудренно: война. Обдирая зубами изоляцию с провода, говорит:

– Сколько на войне всякого добра пропадает, так это привыкнуть невозможно.

Опять бьет немецкая минометная батарея, та самая, но теперь разрывы ложатся левой. Это она била с вечера. Шарю, шарю стереотрубой – ни вспышки, ни пыли над огневыми позициями – все скрыто гребнем высот. Кажется, руку бы отдал, только б уничтожить ее. Я примерно чувствую место, где она стоит, и уже несколько раз пытался ее уничтожить, но она меняет позиции. Вот если бы высоты были наши! Но мы сидим в кювете дороги, выставив над собой стереотрубу, и весь наш обзор – до гребня.

Мы вырыли этот окоп, когда земля была еще мягкая. Сейчас дорога, развороченная гусеницами, со следами ног, колес по свежей грязи, закаменела и растрескалась. Не только мина – легкий снаряд почти не оставляет на ней воронки: так солнце прокалило ее.

Когда мы высадились на этот плацдарм, у нас не хватило сил взять высоты. Под огнем пехота залегла у подножия и спешно начала окапываться. Возникла оборона. Она возникла

так: упал пехотинец, прижатый пулеметной струей, и прежде всего подрыл землю под сердцем, насыпал холмик впереди головы, защищая ее от пули. К утру на этом месте он уже ходил в полный рост в своем окопе, зарылся в землю – не так-то просто вырвать его отсюда.

Из этих окопов мы несколько раз поднимались в атаку, но немцы опять укладывали нас огнем пулеметов, шквальным минометным и артиллерийским огнем. Мы даже не можем подавить их минометы, потому что не видим их. А немцы с высот просматривают и весь плацдарм, и переправу, и тот берег. Мы держимся, зацепившись за подножие, мы уже пустили корни, и все же странно, что они до сих пор не сбросили нас в Днестр. Мне кажется, будь мы на тех высотах, а они здесь, мы бы уже испугали их.

Даже оторвавшись от стереотрубы и закрыв глаза, даже во сне я вижу эти высоты, неровный гребень со всеми ориентирами, кривыми деревцами, воронками, белыми камнями, проступившими из земли, словно это обнажается вымытый ливнем скелет высоты.

Когда кончится война и люди будут вспоминать о ней, наверное, вспомнят великие сражения, в которых решался исход войны, решались судьбы человечества. Войны всегда остаются в памяти великими сражениями. И среди них не будет места нашему плацдарму. Судьба его – как судьба одного человека, когда решаются судьбы миллионов. Но, между прочим, нередко судьбы и трагедии миллионов начинаются судьбой одного человека. Только об этом забывают почему-то.

С тех пор как мы начали наступать, сотни таких плацдармов захватывали мы на всех реках. И немцы сейчас же пытались сбросить нас, а мы держались, зубами, руками вцепившись в берег. Иногда немцам удавалось это. Тогда, не жалея сил, мы захватывали новый плацдарм. И после наступали с него.

Я не знаю, будем ли мы наступать с этого плацдарма. И никто из нас не может знать этого. Наступление начинается там, где легче прорвать оборону, где есть для танков оперативный простор. Но уже одно то, что мы сидим здесь, немцы чувствуют и днем и ночью. Недаром они дважды пытались скинуть нас в Днестр. И еще попытаются.

Теперь уже все, даже немцы, знают, что война скоро кончится. И как она кончится, они тоже знают. Наверное, потому так сильно в нас желание выжить. В самые трудные месяцы сорок первого года, в окружении, за одно то, чтобы остановить немцев перед Москвой, каждый, не задумываясь, отдал бы жизнь. Но сейчас вся война позади, большинство из нас увидит победу, и так обидно погибнуть в последние месяцы.

В мире творятся великие события. Вышла Италия из войны. Высадились наконец союзники во Франции – делить победу. Все лето, пока мы сидим на плацдарме, один за другим наступают фронты севернее нас. Значит, скоро и здесь что-то начнется.

Васин кончил чинить аппарат, любит свою работу. В окопе – косое солнце и тень. Разложив на голенищах портянки, протянув босые ноги, Васин шевелит пальцами под солнцем, смотрит на них.

– Давайте подежурю, товарищ лейтенант.

– Обожди...

Мне показалось, что над немецкими окопами возник желтый дымок. В стереотрубу, приближенный увеличительными стеклами, хорошо виден травянистый передний скат высоты, желтые извилистые отвалы траншей.

Опять в том же месте возникает над бруствером летучий желтый дымок. Роят! Какой-то немец роет среди бела дня. Блеснула лопата. Лопаты у них замечательные, сами идут в грунт. Вровень с бруствером пошевелилась серая мышьяная кепка. Тесно ему копать. А каску от жары снял.

– Вызывай Второго!

– Стрелять будем? – оживляется Васин и, сидя перед телефоном на своих босых пятках, вызывает.

Второй – это командир дивизиона. Он сейчас на той стороне Днестра, в хуторе. Голос поутреннему хрипловатый. И – строг. Спал, наверное. Окна завешены одеялами, от земляного пола, побрызганного водой, прохладно в комнате, мух ординарец выгнал – можно спать в жару. А снарядов, конечно, не даст. Я иду на хитрость:

– Товарищ Второй, обнаружил немецкий артиллерийский НП!

Скажи просто: «Обнаружил наблюдателя», – наверняка не разрешит стрелять.

– Откуда знаешь, что это – артиллерийский НП? – сомневается Яценко. И тон уже мрачный, раздраженный оттого, что надо принимать какое-то решение.

– Засек стереотрубу по блеску стекол! – вру я честным голосом. А может быть, я и не вру. Может быть, он кончит рыть и установит стереотрубу.

– Значит, НП, говоришь?

Яценко колеблется.

Уж лучше не надеяться. А то потом вовсе обидно. Что за жизнь, в самом деле! Сидишь на плацдарме – голову высунуть нельзя, а обнаружил цель, и тебе снарядов не дают. Если бы немец обнаружил меня, он бы не стал спрашивать разрешения. Этой ночью уже прислали б сюда другого командира взвода.

– Три снарядика, товарищ Второй, – спешу я, пока он еще не передумал, и голос мой мне самому противен в этот момент.

– Расхвастался! Воздух сотрясать хочешь или стрелять? – злится вдруг Яценко.

И черт меня дернул выскочить с этими тремя снарядами. Все в полку знают, что Яценко стреляет неважно. И грамотный, и подготовку данных знает, но, как говорится, если таланта нет, это надолго. Однажды он пристреливал цель, израсходовал восемь снарядов, но так и не увидел своего разрыва. С тех пор Яценко всегда держит на своем НП одного из комбатов на случай, если придется стрелять. С ним всегда так: хочешь лучше сделать, а наступаешь на большую мозоль.

– Так вы ж больше не дадите, товарищ комдив! – оправдываюсь я поспешно. Это хитрость, непонятная человеку штатскому. Командир дивизии и командир артиллерийского дивизиона сокращенно звучит одинаково: «комдив», хотя дивизией командует полковник, а то и генерал, а дивизионом – в лучшем случае майор. Яценко любит, когда его называют сокращенно и звучно: «Товарищ комдив». И я иду на эту хитрость, как бы забыв, что по телефону не положены ни звания, ни должности – есть только позывные.

– Тебе что, мой позывной неизвестен? – обрывает Яценко. Но слышно по голосу – доволен. Это – главное.

Что угодно говорить, лишь бы снарядов дал. Мне начинает казаться – даст.

– А ты знаешь, сколько наш снаряд стоит? Пятьдесят килограммов, – ты знаешь, сколько это в пересчете на рубли?

Все ясно. Точка опоры найдена. Когда пошло в «пересчете на рубли», Яценко уже не сдвинешь.

Он говорит долго и поучительно. Он любит себя послушать. И постепенно успокаивается от собственного голоса. Под конец даже добреет.

– Нанесешь этот НП на разведсхему, пришлешь мне с разведчиком. И наблюдай за ним, Мотовилов, наблюдай! Молодец, что засек.

Хочется выругаться. Страшно мы напугали немца, что нанесем его на разведсхему. Это все равно что убить его мысленно. А он вот пока что роет.

– Я знал, что комдив снарядов не даст, – говорит Васин, когда я возвращаю ему трубку. Он как будто даже доволен, что его предвидение сбылось... Тоже мне ясновидящий!

– Ты лучше сапоги надень! – срываю я на нем зло. – И ноги подбери. Расселся, как на пляже.

А немец теперь обнаглел окончательно. Роем на глазах у всех, словно знает, что по нему не будут стрелять. Я стараюсь не глядеть в его сторону. От этого меня еще больше все раздражает сейчас. И окоп тесный, и вода во фляжке теплая, пить противно, и еще Васин с аппаратом расселся так, что повернуться невозможно. Этой же ночью заставлю его рыть себе отдельный окоп, чтоб не торчал перед глазами.

Меня еще потому все раздражает сейчас, что выход есть, снаряды добыть можно. Но для этого надо пробежать по открытому месту шестьдесят метров. В шестидесяти метрах от нас – кукуруза, там – НП дивизионной артиллерии. Они все же не так трясутся над снарядами. И командир взвода там – Никольский – мальчик еще, страшно вежливый, этот не откажет. Главное – перебежать шестьдесят метров до кукурузы. Я уже знаю, что не перестану думать об этом. Удивительно голая местность. Только несколько минных воронок, ни одного окопа, даже трава жесткая, стелющаяся: упадешь – и весь виден. Но сидеть так целый день, смотреть, как немец роет на глазах у тебя, тоже терпения не хватит.

От немцев нас загораживает гребень кювета. Можно хоть изготовиться скрытно. Затягиваю ту же ремень, передвигаю пистолет за спину, вешаю бинокль на шею.

– Будут спрашивать – отдувайся за обоих.

– А если комдив будет ругаться?

Васин очень не любит, когда начальство ругается. Прямо-таки грустнеет на глазах.

– Вот ты и скажешь комдиву, чтоб в следующий раз снаряды давал.

Васин моргает жалобно: мне, мол, хорошо говорить, а отдуваться ему.

– Не бойся, комдив сюда не придет.

Еще раз оглядываю высоты, занятые немцами. Тихо. Выскакиваю из окопа и бегу. Ветер кидается навстречу, нечем дышать. Впереди – воронка. Только бы добежать до нее! Не стреляет... Не стреляет... Падаю, не добежав! Сердце колотится в горле.

Пиу!.. Пиу!..

Чив, чив, чив!..

Словно плетью хлестнуло по земле перед самой воронкой. Отдергиваю руки – так близко. Дурак! Не надо было шевелиться. Из всех сил вжимаюсь в землю. Она сухая, каменистая.

Чив, чив, чив!..

Только б не в голову. Всей кожей головы чувствую, как могут попасть.

Пиу!.. Пиу!.. Пиу!..

Это уже свистят поверху. Осторожно приоткрываю один глаз и тут же зажимаюсь от вспышки. Вон он откуда бьет! На переднем скате высоты – крошечный холмик, яблоня и в круглой тени ее – окоп. Не могу удержать дрожь глаза, когда там бьются белые вспышки. Хочется зажмуриться. Лучше не видеть, как по тебе стреляют.

Впереди меня, у края воронки, каким-то образом уцелевший желтый подсолнух; смотрит на солнце, отвернувшись от немцев.

Фьють! – падает шляпка.

Фьють! – падает стебель, перебитый у основания.

Я лежу на неудобно подогнутых руках, щекой, плечами прижавшись к земле. С земли высота кажется огромной, только краешек неба виден над ней. Я стараюсь запомнить место, где сидят пулеметчики, чтоб из кукурузы, откуда оно будет выглядеть иначе, узнать его. Если он не попадет в меня и я добегу до кукурузы, тогда уж он будет в моем положении: против артиллерии, бьющей с закрытой позиции из-за Днестра, пулеметчик – то же, что я, безоружный сейчас, против него. Я лежу под его пулями распростертый и из суеверного чувства стараюсь не думать о том, что будет с пулеметчиком, если я останусь жив и добегу до кукурузы.

Последняя очередь проносится надо мной. Тишина... Только теперь чувствую, как устали все время сжимавшиеся мускулы. Отчего-то болит затылок и шея. Край бинокля вре-

зался в грудь. Это я упал на него. Жаль, если побились стекла. У меня замечательный цейсовский бинокль.

На сколько у пулеметчика хватит терпения? Минут десять будет караулить, потом устанут глаза. Главное, чтоб немец не начал швырять мины. Если рядом упадет снаряд, еще можно остаться в живых. У меня был уже случай. Изорвало голенища сапог, а когда я вскочил и побежал, хромая, обнаружил, что еще каблук срезало. Снаряд рвется в земле и осколки выбрасывает вверх, особенно фугасный. Но от мины на ровном месте спасения нет. Она разрывается, едва ударившись о землю; осколки ее сбивают даже траву.

Осторожно за ремешок тяну из-под себя бинокль: врезался в кость, терпения нет никакого. Потом лежу, закрыв глаза. В висках кровь тяжелыми ударами отсчитывает время.

Наверно, прошло уже десять минут. Больше я не могу, во всяком случае. Вскрываю и бегу. Бинокль раскачивается на шее, бьет по груди. Никак не удается поймать его на бегу. Падаю уже в кукурузе. Пулемет запоздало строчит вдогонку.

Лежа на животе, еще не отдышавшись, просовываю бинокль меж стеблей. Слепящее солнце, синеватый дымок, затянувший высоты, – все это прорезают увеличительные стекла, и я вижу пулеметчиков десятикратно приближенными. Их двое, оказывается. За реденьким частоколом натянутого в бруствер бурого конского щавеля шевелятся две железные каски, два желтых пятна вместо лиц. Теперь я их не потеряю из виду.

По кукурузе близко от меня пробегает, пригнувшись, пехотинец, ладонью прижимая к груди медали. Кажется, ординарец Никольского. Когда я спрыгиваю в траншею наблюдательного пункта, он уже развешивает на колышках, вбитых в стену, мокрые тряпки: платки, подворотнички. И радостно улыбается мне крепкими зубами, стараясь показать свое расположение:

– Это по вас стреляли, товарищ лейтенант?

Все это время, пока я лежал, мечтая только, чтоб не в голову попало, он под скатом в бомбовой воронке стирал, сидя на корточках, и прислушивался: по ком это? Никто даже огня не открыл. Вот черти!..

– Лейтенант где?

– Болеет лейтенант. В той щели лежит.

Никольский лежит на земле, с головой укрытый шинелью. Дрожит так, что под сукном видно. Я долго торможу его за плечо. Наконец он садится, откидывает с головы шинель. Расширенным зрачкам его даже в сумраке перекрытой щели больно от света, он жмурится. От лица, от шеи его пышет жаром, а руки ледяные и ногти синие.

– Никольский! – говорю я, вглядываясь в его горячечно-блестящие влажные глаза, и встряхиваю его легонько, потому что не уверен, понимает ли он меня вполне.

– Не кури, – просит он, рукой отгоняя дым от лица, – тошнит от запаха.

И зябко кутает плечи шинелью, застегивает крючок у горла.

– Как в погребке здесь.

Лицо у него желтое, губы от жара растрескались до крови, зрачки точно смолой налиты. Малярия.

– Саша! – Я притягиваю его к себе и чувствую на лице его горячее, резкое дыхание. – Пулемет обнаружил, слышишь меня? Обоих пулеметчиков видно. Не накроем – уйдут, сволочи!

Я вижу, понять меня стоит ему усилия. Он даже поморщился, оттого что больно подымать глаза.

– С глазами что-то делается, – признался он, – то лицо у тебя огромное, то где-то далеко все. Не попаду я.

– Я буду стрелять!

– У нас там, товарищ лейтенант, цель номер два. Правее немного, – внезапно поддерживает меня ординарец.

– А ну соединишь с комбатом! – уже приказываю я телефонисту.

Все на НП сразу приходит в движение. Я иду по траншее, расправив плечи, и встречные почтительно прижимаются к стенам, давая дорогу: что-что, а стрелять артиллеристы любят. Может быть, потому, что мы всегда экономим снаряды. По нас бьют, а мы экономим. Хуже нет, когда сидишь в окопе и ловишь ухом: перелет? недолет? вот он, твой, кажется! И вжимаешься в стенку, и выть хочется от бессильной злобы...

Я сажусь к стереотрубе, прилаживаю ее по глазам. Вон они оба в своих касках, как птенчики в гнезде. Только б не спугнуть. И вдруг замечаю, что и команду передаю тихо, словно они могут услышать.

– Цель номер два! – звучно, лихо, радостно повторяет за мной телефонист. – Правее ноль двенадцать!..

Над головою шуршит земля. Это двое разведчиков с биноклями вылезли наверх, лежат в кукурузе на животах, ждут первого разрыва. Я медлю: сильный ветер, он неминуемо снесет дым разрыва, а мне хочется быстро вывести снаряд на цель, чтоб сразу перейти на поражение, пока они не сообразили, что к чему. Первый дал перелет.

Я командую:

– Взрыватель фугасный!

Позади пулемета овражек. Плоский осколочный разрыв не будет виден, фугасный же выбросит столбом. Телефонист озадаченно повторяет:

– Взрыватель фугасный!

Он привык, что фугасными снарядами бьют только по укреплениям: по дотам, по дзотам, а здесь – окоп.

И вдруг вся эта продуманная комбинация рушится. Пулемет внезапно начинает строчить – я вижу ясно вспышки в круглой тени яблони, – а сверху, над головой у меня, раздаются какие-то крики.

– Огонь!

Очередь обрывается, каски исчезли в окопе, грязный ватный разрыв встает позади.

Сверху опять кричат:

– Левей, левей ползи!

Кому они кричат?

– Огонь!

Дымом заволакивает окоп. Когда его сносит, каски осторожно приподнимаются. И тут я замечаю на поле ползущего человека. К одной ноге привязана катушка, к другой – телефонный аппарат. Васин! Ползет сюда. Ему кричат. И я тоже кричу диким голосом:

– Лежать! Лежать, мерзавец!

Он как будто услышал. Замер. Обеими руками глубже натянул пилотку на голову. Опять пополз. И сейчас же – та-та-та-та-та!

– Огонь!

Разрывы сильно сносит ветром. Замолкнув на минуту, пулемет опять начинает работать. Вцепился в Васина, не отпускает живым. Больше я не смотрю туда – иначе не попаду. Наверху тоже затихли. Убит? Страшная это тишина.

– Батарее четыре снаряда беглый огонь.

Грохот, кипящий дым над окопом, и в нем – мгновенные вспышки огня. Даже здесь все трясется, со стен ручьями течет песок. И сразу все обрывается. Тишина давит на уши. Когда ветром относит дым, вижу срубленную яблоню, сапог, выброшенный из окопа. Пулемета нет. И окоп почти целый. Он теперь не в тени, на ярком солнце, тень исчезла вместе с яблоней. Из него медленно исходит дым.

Наверху, над головой у меня, раздается рев, как на стадионе. И под этот рев вваливается Васин с катушкой и телефонным аппаратом. Пыльный, потный, запыхавшийся – живой! Черт окаянный! У меня до сих пор из-за него дрожат колени.

Васин быстро подключает телефонный аппарат.

– Ругались!.. Одна нога здесь, другая – там, чтоб найти вас...

Я сижу на снаряжном ящике у стереотрубы, смотрю на него сверху. На его шею, красную, блестящую от пота, заросшую темными волосами, на его круглые плечи, мускулы под натянувшейся гимнастеркой, на его тяжелые от прилившей крови уши, оттопыренные, как у мальчишки. Молодой, здоровый, горячий, весь полный жизни. Если б одна из пуль, одна только пуля попала в него сейчас... Кажется, пора бы уж привыкнуть. Но как подумаешь, невозможно ни привыкнуть, ни понять это.

Васин снизу подает мне трубку. В ней – голос начальника артснабжения полка Клепикова.

– Мотовилов? У тебя какой пистолет, понимаешь? Отечественный? Трофейный? Я, понимаешь, специально приехал, инвентаризацию, понимаешь, провожу...

Снизу на меня смотрит Васин. В глазах сознание важности состоявшегося наконец разговора. Он ждет. Ради этого разговора он полз сюда, привязав катушку к одной, телефонный аппарат к другой ноге. Я молчу.

– Мотовилов? Ты меня слышишь, понимаешь? Ты что, понимаешь, шутки шутить, понимаешь?

Когда он волнуется, он с этим «понимаешь» как заика. Он очень обидчив, Клепиков. Он – капитан, но ему все кажется, что строевые офицеры недостаточно уважительно относятся к этому факту. К командиру батареи, тоже капитану, они относятся с большим уважением, чем к нему, начальнику артснабжения, хотя должность его выше и даже единственная в полку.

– Я специально приехал, понимаешь, инвентаризацию отечественного, понимаешь, оружия произвожу!..

Я не могу даже обругать его, потому что рядом – Васин. Для этого разговора он тащил сюда телефонный аппарат, – у меня это еще перед глазами, как он полз и как стреляли по нему.

– А ну отойди отсюда! – приказываю я Васину.

Когда он отходит, я прикрываю трубку ладонью и говорю Клепикову все, что думаю о нем и его инвентаризации. Он кричит, что будет жаловаться, что я пользуюсь тем обстоятельством, что между нами Днестр. И голос у него жалкий. И мне вдруг становится жаль его. Не надо было его оскорблять, тем более что он все равно меня не поймет. Чтобы понять, ему надо побыть здесь, но здесь он никогда не бывал и не будет: на войне всегда между нами Днестр. И говорим мы с Клепиковым на разных языках. Он действительно с самыми лучшими намерениями прибыл из тыла в хутор на той стороне и чувствует себя там на передовой. Он производит инвентаризацию личного оружия, потому что из честных побуждений хочет принять самое деятельное и непосредственное участие в войне. А в то же время из-за этой его внезапной старательности только что чуть не погиб хороший человек. Наверное, Клепиковы нужны на фронте, раз даже должность для них есть. И в жизни, наверное, без них не обойтись.

Не знаю, тут есть что-то несовместимое, что совершенно понять нельзя. И хотя мы служим с Клепиковым в одном полку и все время на одном фронте, у нас с ним нет общих воспоминаний, война для нас настолько различна, словно это две разных войны. У меня гораздо больше общего с незнакомым мне, случайно встреченным пехотинцем, с которым мы закурим вместе, перекинемся парой ничего не значащих слов, и окажется вдруг, что мы и понимаем друг друга с полуслова, и чувствуем многое одинаково.

Я уже не сержусь на Клепикова. Я действительно на него не сержусь. Я отвечаю на его вопросы. У меня не отечественный пистолет – трофейный парабеллум.

Клепиков еще некоторое время ворчит, потом успокаивается. В общем, он – незлобивый человек, хотя и обидчив. Главное, он любит, чтобы к его делу относились уважительно. Я

доставляю ему это удовольствие: терпеливо слушаю его. Оказывается, трофейные пистолеты он не включает в инвентаризацию. И чтоб у меня не осталось неясности на этот счет, он разъясняет, почему он так делает. Очень логично. Но что-то надо сказать Васину. Не мог же он зря проделать весь этот путь. И я благодарю его. Пять минут назад, когда он полз под огнем, я не знаю, что мог бы с ним сделать. Сейчас я его благодарю.

– Но если еще раз так полезешь, не немцев бойся, а меня.

Васин доволен.

До вечера мы остаемся здесь. Васин угощается у разведчиков, я иду к командиру батальона Бабину, которого поддерживает наша батарея.

С яркого солнца, с пекла спускаюсь вниз, в прохладный сумрак землянки, где желтым огоньком горит свеча.

– Начальству привет!

Бабин только глянул и продолжает лежа думать над шахматной доской, подперев ладонью крепкую черноволосую голову. Он в тельняшке, в одном хромовом сапоге, другая, вытянутая нога, в носке. Про него говорят: «Это тот комбат, который лежа воюет». Даже те, кто не знают его по фамилии, в лицо ни разу не видели, про такого комбата слышали. Бабина ранило в ногу осколком мины, еще когда мы высаживались на плацдарм. С тех пор он и воюет лежа, и немцам ни разу не удалось потеснить его батальон. Рассказывают, был тут сначала военфельдшер – отчаянная девка, она и ухаживала за ним.

При желтом огне свечи руки, шея, лицо Бабина кажутся коричневыми. Лицо у него крупное, жесткие щеки давно уже бреющегося человека.

Напротив него, на других нарах, сбив фуражку на затылок – как она у него там держится, непонятно, – горбоносый командир второй роты Маклецов негромко, чтоб не мешать комбату думать, наигрывает на гитаре и поет: «Прощайте, скалистые горы...»

Песни комбат любит морские: до войны он плавал на Севере капитаном рыбацкого сейнера.

Я сажусь рядом с Маклецовым, достаю портсигар. В общем-то, конечно, Яценко прав, что не дал снарядов: стрелять из стопятидесятидвухмиллиметрового орудия по отдельным наблюдателям – это все равно что из пушки по воробьям. Но рассуждать объективно можно, когда ты спокоен, а не в тот момент, когда сидишь в щели и голову нельзя высунуть, а тебе еще снарядов не дают.

Привыкшими к темноте глазами замечаю в дальнем углу у дверей худощавого, шуплого телефониста. Надевает на голову телефонную трубку, усаживаясь рядом с телефонным аппаратом, старается не шуршать. Он явно смущен. Еще бы не смущен, когда выиграл у начальства.

– Где-то тут я что-то просмотрел... – неуверенно говорит Бабин.

Мне он нравится. Спокойный, упорный мужик. Но на человека, хорошо играющего в шахматы, способен смотреть как на бога.

Бабин ложится на спину, берет со стола свечу в плошке, прикуривая, втягивает весь огонек в трубку.

– Из-за чего война была? – спрашивает он, отнеся огонь от лица.

– Пулемет уничтожили, – говорю я так, словно каждый день уничтожаю по пулемету. – Двух пулеметчиков ухлопали.

Глаза Бабина веселеют сквозь дым.

– Ну, все. Скоро война кончится.

Он вытягивает из-под бока скользкую планшетку с картой под целлулоидом.

– Покажи.

Я показываю, где стоял пулемет.

– Рядом с яблоней? – радуется он, что зрительно помнит местность. – Так и надо дуракам: не лезь под ориентир.

Он прячет планшетку.

– А ну, расставляй еще!

– Так что же, товарищ капитан, опять сердиться будете, – предупреждает телефонист, заранее снимая с себя всякую ответственность.

– Расставляй, расставляй! – Бабин уже сердится. Телефонист пожимает одним плечом: «Что ж, я лицо подчиненное», – и расставляет фигуры и себе и комбату.

Они успевают сделать первые ходы, когда начинается бомбежка. Бабин со стола берет трубку в рот – трубку эту он завел с тех пор, как начал воевать лежа, – думает над ходом, подперев лоб пальцами. Наверху – тяжелые удары. Подпрыгивает на столе огонек, словно хочет оторваться от свечи. Пыль, как дым, подымается из углов, наполняет воздух. Грохот давит на уши, голова становится мутной.

Откуда-то сверху скатывается связной, козыряет у дверей, вытянувшись. Он весь обсыпан землей, глаза вытаращены.

– Товарищ комбат, прислан для связи командиром третьей роты! На участке нашей роты банбит – солнца не видать!

Из-за частотола пешек Бабин осторожно вытянул коня, держа на весу, сказал:

– Возьми карандаш на столе, возьми бумагу, напиши слово «бомбит».

Связной нерешительно двинулся к столу, взял карандаш отвыкшими пальцами. На бумагу с треском посыпалась земля сверху. Он уважительно смел ее ладонью... «Ты стояла в белом пла-атье, – наигрывал Маклецов, заглядывая через плечо связного, – и платком махала...» Осторожно положил гитару на сено, вышел из землянки: до своего НП ему бежать недалеко, метров сорок.

У связного на первой же букве ломается карандаш.

– Дайте ему нож карандаш очинить, – говорит Бабин, не отрываясь от доски.

От взрывов приходят в движение бревна наката над головой. Они скрипят, трутся друг о друга, и все это сооружение начинает казаться непрочным. С потолка вниз по стене стремглав проносится мышь.

Связной старательно выводит букву за буквой, согнувшись над столом, то и дело дуя на бумагу. Бабин негромко переговаривается по телефону с командирами рот. «Кульчицкий, у тебя как?..» Даже мне на других нарах слышно, как кричит в трубку Кульчицкий. Его бомбят сейчас, и он собственного голоса не слышит.

Точно ученик, связной подал бумагу. Бабин зачеркнул «н», написал сверху «м».

– Перепиши три раза, – и опять задумался над ходом с трубкой в зубах. Лицо напряженное, глаза остро блестят.

Я выхожу из землянки.

В небе над головой, зайдя в хвост друг другу, кружат «хейнкели». Их круг в небе – это наш плацдарм на земле. Какой же он крошечный!

Согнувшись, бегу по кукурузе к НП. Падаю, не добежав. Звенящий вой входит в меня, как штык. Закрываю глаза. Земля вздрагивает подо мной, как живая. На минуту глохну от грохота. Когда поднимаюсь, впереди черная и серая стена дыма. И на фоне этой черной, клубящейся грозовой стены особенно зелено, сочно блестят листья кукурузы. И сейчас же новый взрыв кидает меня на землю. Становится темно и удушливо.

Потом «хейнкели» улетают, сквозь черный дым проглядывает солнце. И уже вскоре над головой у нас – летнее синее небо с белыми облаками и яркое солнце. Оно кажется сейчас особенно ярким. Даже не верится, что пять минут назад оно тоже светило над головой и только дым заслонял его. Я отряхиваюсь. Кого-то уносят, согнувшись, по кукурузе. Еще пахнет взрывчаткой, и везде разбросаны свежие комья земли.

Неужели кончится война и с такой же легкостью, с какой проглянуло сейчас солнце, забудется все? И зарастут молодой травой и окопы, и воронки, и память?

ГЛАВА III

Ночью нас внезапно сменяют.

Является командир отделения разведки Генералов, с ним Синюков и Коханюк. Коханюк во взводе новый, я его еще толком не знаю. Острый пестренький носик в веснушках, пестрые рыжеватые глаза, тонкая шея. Кто ж тебя так кохал, Коханюк, что за ворот тебе еще и кулак можно засунуть? Генералова я не видел десять дней. Он еще больше раздался вширь, лицо заблестело. По его комплекции ему бы усы, да орденов полную грудь, да под знамя – гвардеец!

– Еле вас нашли! – говорит он радостно оттого, что все-таки нашли. – На НП – нету. Мы уж по связи сюда...

Он садится на землю, сняв с головы, кладет рядом с собой новую фуражку (ого! даже фуражку завел офицерскую. Я пока что в выгоревшей пилотке хожу), платком вытирает лицо, волосы. От него пахнет одеколоном. Пока мы едим, он рассказывает новости:

– Ну, товарищ лейтенант, с вас вина бочонок: комбатом вас хотят назначить.

– А Монахов куда?

– Малярия доконала. В госпиталь увезли старшего лейтенанта.

Странно устроен человек. Вот и не нужно мне это: кончится война, буду жив – демобилизуюсь. А все равно приятно.

Васин уже собрался, он и есть почти не стал: дома поедим. Действительно, мы ж домой идем. Я встаю.

– Так вот, Генералов, делать тебе вот что...

И как только я встаю и начинаю вводить его в круг обязанностей, Генералов сразу тускнеет, а на лице Коханюка отражается тревога. До сих пор они шли, спешили, один раз попали в болото, чуть не угодили под разрыв мины, бежали, искали нас, потеряли, нашли наконец, – они возбуждены и радостны. Но постепенно возбуждение остыло. Сейчас мы уйдем, и они останутся одни. Только Синюков – этот уже бывал на плацдарме – спокойно переобувается на траве. В огневом взводе есть несколько человек старше его, но у меня во взводе их только двое таких: он и Шумилин. Он из тех солдат, что ни от чего не отказываются, но и сами никуда не напрашиваются: обошлось без них – и ладно.

– Ты что ж без шинели? – говорю я Генералову.

– А я так понимаю, нас скоро сменят?..

Это получается у него вопросительно.

– Смотри какой понятливый!

– Должны были прислать сюда командира взвода восьмой батареи. Младший лейтенант, фамилия у него еще такая запоминающаяся... В географии встречается.

– Чичеланов?

– Во, во! Пролив такой в школе изучали. Чичеланов, Магелланов...

– Ты, видно, сильный был ученик.

– Нет, чего? Я это дело любил...

– Понятно. Так что Чичеланов?

– В штаб дивизии для связи забрали в последний момент. Я понимаю, я тут временный.

– Ну, раз временный, в гимнастерке не замерзнешь. Да у тебя ж еще и фуражка новая.

Генералов улыбается заискивающе: он, мол, понимает, что товарищ лейтенант шутит. Не нравится он мне сегодня. И мне бы надо с ним быть строгим, но отчего-то в душе мне неловко перед ним. Оттого, наверное, что я уйду и скоро буду на той стороне, а он остается здесь. И Генералов чувствует это.

– Ладно, оставляю тебе свою шинель.

И потому, что мне хочется скорей уйти, я, словно стыдясь этого, все медлю. Ребята от моего сочувствия окончательно погрузтели. Генералов еще несколько раз к слову говорит, что должны были прислать сюда младшего лейтенанта, а вот прислали его. А когда я приказываю вырыть новый НП в кукурузе, он выслушивает это угрюмо, словно и воевать его заставили вместо кого-то. Ничего. Это до тех пор, пока есть старший над ними, кто отвечает за все. А уйду, останутся одни – и разберутся сразу, и выкопают, и сделают все.

Напоследок захожу к Бабину проститься, и потом вместе с Васиным мы быстро идем через поле к лесу. Под низкими тучами то и дело вспыхивают огненные зарницы орудейных выстрелов, и в воздухе над нами воет, удаляясь: опять по берегу бьет.

В лесу, сильные перед дождем, запахи цветов и трав хлынули на нас, и мы замедляем шаг. Теперь уже нас никто не задержит, мы отошли порядочно. Когда на плацдарме сменяют, самое сильное желание – скорей выбраться отсюда: вдруг в последний момент случится непредвиденное и тебе придется остаться?

В лесу темней, чем в поле, и душно здесь, и отчего-то беспокойно, как бывает перед грозой. А тут еще Генералов испортил настроение. Не следовало оставлять ему шинель. От близкого болота ночи здесь бывают свежие, померзнет в одной гимнастерке, так иная ночь в шинели раем покажется. И уж не станет думать о том, что он временный здесь. Мне на фронте никто свою шинель не подстилал. И правильно делали.

Но с полдороги и Генералов, и мысли о нем – все это остается позади. Мы возвращаемся домой! Радостно снова идти по лесу, по которому десять суток назад мы шли сюда, радостно узнавать каждое дерево. Лес с тех пор сильно поредел. Множество деревьев, расщепленных словно от удара молнии, белеет в темноте. У иных сломаны вершины, иные вырваны с корнем и валяются на земле, мертвые среди живых.

Наверное, здесь нет ни одного раненого дерева. Пройдет время, затянутся осколки белым мясом, но еще долго у пил будут ломаться зубья, еще не раз человек, срубив дерево, вынет на ладонь осколок или пулю, и что-то защемит в душе, и вспомнится пережитое...

Далекое, всходящее у нас за спиной ракеты освещают черноту впереди и блестящие листья на кустах. И по мере того как мы идем по лесу, к запахам цветов и трав присоединяется свежий, все более сильный запах близкой уже реки. Сейчас будет поворот, а там рукой подать до Днестра.

За поворотом мы обычно отдыхаем. Здесь в песчаный косогор, на котором растут сосны, держа его корнями, врыта землянка связистов. Хорошая землянка. Под самой сосной. Потолок сводом, как в русской печи. И пахнет здесь, как в сторожке: едой и махоркой. Даже дверь поставили настоящую. А от двери три ступеньки вниз и – дорога. Нет такого человека, который бы шел на плацдарм или с плацдарма и не поднялся бы по этим ступенькам, не выкурил бы сигарку у связистов на промежуточном пункте. И пока курит, не раз позавидует их тихому лесному житью. А представит себе место, куда идет сам, так и вовсе раем покажется эта землянка. Гася сигарку о подошву, пошутит: «Вам бы поросеночка завести или сразу корову, раз хозяйство такое». И однажды связисты в самом деле перевезли из-за Днестра корову, привязали к сосне около землянки – в полукилометре от берега, в километре от передовой. Даже навес соорудили над ней, чтоб незаметно было с воздуха, а травы в лесу – только ленивый не накопит. Но у коровы, как только она оказалась на плацдарме, почему-то пропало молоко. А вскоре ее убило снарядом.

Сейчас мы тоже перекурим у связистов. Здесь как бы рубеж. Все новости с того и с этого берега собираются на промежуточном пункте. И если ты идешь на плацдарм, самую первую точную информацию получаешь здесь.

Сильный синий свет разрывает черноту над лесом, на миг осветились закачавшиеся вершины деревьев, и я вижу впереди себя, в том месте, где была землянка, огромную бомбовую воронку и с корнем вырванную, поваленную на дорогу сосну. Что-то торчит из песка, но я не

успеваю разглядеть, что это: свет гаснет. И уже в темноте над головами у нас, над зашумевшими вершинами, выше туч тяжело и глухо грохочет. Привыкшие к артиллерийскому обстрелу, мы не сразу догадываемся, что это гром. При новой вспышке молнии, подойдя ближе, мы видим полу шинели, мешком повисший шинельный карман и ногу в сапоге, согнутую в колене. Поднявшийся ветер уже раскачивает их над бомбовой воронкой на уровне наших голов. Прямое попадание...

– И сюда достал, – говорит Васин.

Мы привыкли к тому, что на плацдарме убивает. Без этого еще дня не было. И прямые попадания не такая уж редкость, когда простреливается каждый метр. Но здесь безопасное место. Здесь наш тыл. А когда убивает в тылу, это почему-то всегда действует неожиданно.

Через Днестр мы переправляемся под проливным дождем. Он по-летнему теплый. Пахнут дождем наши гимнастерки, которые столько дней жарило солнце. Теперь дождь вымывает из них соль и пот. Пахнет просмоленная дощатая лодка, сильно пахнет река. И нам весело от этих запахов, оттого, что мы гребем изо всех сил, до боли в мускулах, оттого, что соленые струи дождя бегут по лицу.

На плацдарме, теперь уже далеко от нас, всходят в дожде ракеты, свет их туманен. Хлещут синие молнии, ослепительно отражаясь в воде. Мы гребем спиной к тому берегу, лицами – к плацдарму. Он все больше отдаляется от нас и как бы опускается за воду. И чем дальше отплываем мы, тем меньше кажется он издали, наш плацдарм. Но скольких жизней стоил иной метр его...

– Зальет ребят! – кричу я.

Васин из-за плеча поворачивает ко мне мокрое, веселое лицо, в которое хлещет дождь.

– Просохнут!

Лодка скребет по песку. Мы выпрыгиваем в воду, вытягиваем лодку носом на берег.

– Искупаемся?

Мокрые, сидя на мокром песке, стаскиваем через головы гимнастерки, а дождь шлепает нас по спинам. Из всего, что есть на мне, только партбилет не промок: он в прорезиненной обертке от индивидуального пакета. Я закатываю его в гимнастерку. Васин тянет у меня с ноги сапог и вместе с сапогом везет меня по песку, и мы оба хохочем. Потом он, голый, мускулистый, скачет на одной ноге, срывая с другой мокрые брюки. Рядом с ним я – худой и длинный, и я немного стесняюсь этого: ведь я же лейтенант. Мы пробегаем по лодке, раскачивающейся под ногами, и один за другим прыгаем головами вниз в черную воду. Ух ты! Даже дух захватывает – так хорошо! Когда я выныриваю из глубины, рядом отфыркивается Васин, трясет круглой головой, а река вся залита зеленым светом ракеты. Что-то холодное скользит у меня по животу, обвивает ногу. Вздвигнув от гадливого чувства, ныряю. Водоросли! Мягкие, шелковистые. Я кидаю ими в Васина, он кидает в меня, и, брызгаясь и смеясь, расплываемся в разные стороны. Только вырвавшись с плацдарма, чувствуешь, как же хорошо жить на свете! А с берега, из окопов, что-то кричат нам приглушенными голосами. Кажется, злятся.

Захватив под мышки сапоги, гимнастерки, брюки, мы босиком бежим по песку вверх. Спрыгиваем в траншею. И, сидя на корточках, в одних трусах, курим. От мокрых пальцев наших сигарки шипят. У Васина на мокром теле то вспыхивают и разгораются, то гаснут капли воды. А вокруг стоят пехотинцы и лейтенант, все в плащ-палатках, в капюшонах, голоса у них недовольные.

– Ну чего крик подняли? Он тут на голос бьет!

Я подмигиваю Васину, и мы оба хохочем. «На голос бьет!» А с их сумрачных капюшонов на наши голые спины капает вода. У этих ребят, обороняющих траншею за Днестром, здесь – передовая. Кто ж для них тогда мы, переплывшие с плацдарма? Смертники? А ведь для пехоты, сидящей на плацдарме, наш НП, расположенный метрах в ста позади них, – тыл.

– Крепко вы здесь окопались! Проволоку бы еще надо колючую: все-таки фронт.

Обиделись:

– Мы таких видали. Вы-то вот сейчас уйдете, а он по нас будет бить.

Пожалуй, не стоило их обижать. Позади них еще ого сколько народу. На фронте у каждого свой передний край. И в жизни, наверное, тоже.

Дождь постепенно стихает. Мы натягиваем на себя все мокрое и идем в хутор. На этой стороне даже воздух легкий какой-то. Совсем по-другому дышится.

У первых домов из тени дерева наперерез нам выходит патруль. Двое разведчиков нашего дивизиона, у каждого из-за плеча торчит приклад автомата. Узнав, пропускают. Просят только прикурить.

– А курить на посту нельзя, – говорит Васин строго: он любит иногда поучать.

Смеются. Это они знают, как знают и то, что прикурить мы дадим. Уходят они от нас, унося в мокрых рукавах шинелей тлеющие огоньки сигарок.

В хуторе сон и тишина. Мы идем вдоль низкого, белого под луной заборика, по-южному сложенного из плоского дикого камня. На другой стороне улицы до половины дороги – тень, несколько луж блестит в разъезженных колеях. Такое чувство, словно и родился я здесь и прожил здесь жизнь и теперь возвращаюсь домой. Вот она, деревянная калитка на кожаных петлях. Ее нельзя открыть. Ее надо приподнять и перенести. Мы делаем проще: мы перепрыгиваем через забор.

Кулаком бью в раму окна. Нечего спать, раз мы вернулись. Окошко крошечное: четыре стекла, вмазанных в белую глиняную стену дома, и рама крест-накрест. Все это сотрясается под ударами.

И сейчас же распахнулась дощатая дверь. Панченко, ординарец мой, сонный, зевающий, в трусах и босиком стоит на пороге.

– Заходите, товарищ лейтенант.

В доме сонное тепло, воздух густой, спертый. Разведчики, спавшие на полу, садятся на своих плащ-палатках, жмурясь от света лампы. Голоса до первой сигарки хриплые.

– Вы бы хоть окно открыли.

– Та они здесь такие окна, что не открываются. Прикладом выбить – это можно. Вместе с рамой.

И ухмыляются, довольные. Я скидываю с себя все мокрое, в одних трусах, босиком иду к столу по теплому глиняному полу. И только сейчас всем своим голым отогревающимся телом чувствую, что прозяб.

На столе всего столько, что страшно начинать. Лежат три фляжки, обшитые сукном, стоит посреди стола высокая, мутноватая бутылка с прилипшими к стеклу крошками соломы. Самогонка. По запаху – виноградная. Вот с нее мы и начнем.

Панченко наливает в граненые стаканы мне и Васину. Мы только двое сидим за столом. Остальные разведчики – кто боком на подоконнике, кто на кровати, кто на полу, поджав под себя ноги, – сочувствуют издали. Их Панченко к столу не допускает: не они вернулись с плацдарма, а мы.

– Ну, за то, чтоб всегда возвращаться.

И мы пьем. Самогонка крепкая, до слез. Взяв по куску холодного мяса, жуем медленно, ждем, пока дойдет. И постепенно становится тепло.

У стола хозяйничает Панченко. Кухонным ножом режет хлеб. Не кукурузный, не ячменный – высокий пшеничный хлеб с пропеченной мучной коркой. Потом появляется из печи горячая баранина и коричневая от подливки картошка. Все почти такое же, как, бывало, готовил Парцвания, только перца не хватает. Эх, Парцвания, Парцвания... Мы наливаем по второй.

Хорошо вот так ночью живым вернуться с плацдарма домой. Об этом не думаешь там. Это здесь со всей силой чувствуешь. Мне никогда до войны не приходилось возвращаться домой после долгой разлуки. И уезжать надолго не приходилось. Первый раз я уезжал из дома в

пионерский лагерь, второй раз – уже на фронт. Но и тот, кто до войны возвращался домой после долгой разлуки, не испытывал того, что испытываем мы сейчас. Они возвращались соскучившиеся, мы возвращаемся живые...

Сидя на подоконниках, спинами подпирая стены, разведчики смотрят, как мы двое едим, и глаза у них добрые. А в углу стоит широкая деревенская кровать с деревянными шарами. Белая наволочка, набитая сеном, белая простыня. В ногах поперек положена шинель. Конечно, это Панченко все приготовил, угрюмый мой ординарец. Он на год моложе меня. У него маленькие, вечно озабоченные глаза и крупный нос. «Нос у меня от деда», – говорит он. Брови тоже от деда. Панченко единственный в батарее кубанский казак, откуда-то из Усть-Лабинской. Я смотрю на его озабоченную, угрюмую милую морду, и в душе у меня к нему нежность. Но ему об этом знать не положено.

Многого не понимали до войны люди. Разве в мирное время понимает человек, что такое чистые простыни? За всю войну только в госпитале я спал на простынях, но тогда они не радовали. Так бывало в детстве: стоит тяжело заболеть, и тебе готовят самое лучшее, самое вкусное, а ты не можешь есть. И, выздоровев, всегда жалеешь об этом.

– Ну, по последней!

Потом я ложусь на свою царскую кровать, пахнущую сеном и свежим бельем, и проваливаюсь, как в пух. Такую широкую деревенскую кровать невозможно ни вынести через дверь, ни внести. Ее вносят, наверное, один раз, до того, как построен дом. Ставят, а потом уж двигают саманные стены. Сегодня я сплю на ней один. Но отчего-то никак не могу заснуть. Жарко мне или не хватает чего-то? Я ворочаюсь, натягиваю на ухо шинель, с закрытыми глазами считаю до ста. И едва задремываю, как, вздрогнув, просыпаюсь опять. Я просыпаюсь от тишины. Даже во сне я привык прислушиваться к разрывам снарядов, привык, чтобы кто-то в тесноте дышал мне в затылок, и сейчас на широкой кровати, на чистых простынях не могу заснуть. И мысли лезут в голову о ребятах, оставшихся на плацдарме. Зажмурюсь – и опять все это перед глазами: землянка связистов, в которую попала бомба, дорога в лесу – до последнего кустика – и черные высоты, занятые немцами, при свете плывущей над ними ракеты... Нет, кажется, не усну. Я надеваю сапоги, накидываю на голые плечи шинель и осторожно, чтоб не разбудить ребят, выхожу во двор. Весь он, покатый к Днестру, освещен, как днем, стена дома ярко-белая, а черные стекла в окне блестят. И воздух свежий после дождя, пьяный. И тихо. Как тихо! Словно и нет войны на земле. Я сижу на камне, запахнув колени шинелью. Что-то дышит рядом. Лохматый пес близко от меня сидит на задних лапах, косится настороженно.

– Давай подружимся, пес!

Он тихонько рычит в ответ, и черная губа приподнимается над синеватыми клыками. Потом подползает все же, мокрый нос тычется мне в колено. Я запускаю пальцы в его теплую свалывшуюся шерсть.

Впереди – оранжевая луна садится за глиняную трубу дома. Свет ее, как два бельма, отражается в глазах собаки. И что-то такое древнее, бесконечное в этом, что было до нас и после нас будет.

В школе за один урок мы успевали пройти нескольких фараонов. Сорок пять минут урока были длиннее двух веков. Персия, Александр Македонский, Писистрат, законы Ликурга, Рим, пунические войны, что-то сказал Гасдрубал, Столетняя война... Государства возникали и рушились, и нам казалось, что время до нас бежало с удивительной быстротой и вот теперь только пошло своим нормальным ходом. Впереди у каждого из нас целая человеческая жизнь, из которой мы прожили по четырнадцать, пятнадцать лет. Как это много, если помнишь каждый прожитый день, если сорок пять минут урока за партой кажутся бесконечными, если давно мечтаешь стать взрослым, а время тянется так медленно!.. Я уже воюю третий год. Неужели и прежде годы были такие длинные?

Луна опустилась за трубу, только краешек ее светится над крышей. Сколько миллионов лет она уже вот так восходит и садится? Сколько миллионов лет после нас она будет совершать свой еженощный ход? Или миллиардов? Впрочем, это все равно.

Продрогнув, я встаю с камня, и вместе со мной до половины подымается из-за крыши луна. В доме, в тепле, я укрываюсь с головой и, подожав под шинелью, засыпаю.

ГЛАВА IV

Утром просыпаюсь поздно, один во всем доме. И первое чувство – никуда мне не нужно спешить, ни о чем не надо думать. Хорошо! Где-то война, а я в отпуску. И что-то вчера еще было радостное. Да, я – комбат! Ночью вызывал командир дивизиона Яценко и при начальнике штаба, при множестве свечей торжественно объявил мне об этом.

И вот я лежу на широкой деревянной кровати уже в новом качестве: не взводный, а командир батареи. Окно завешано суконным одеялом, в доме прохладно, сумеречно, от побрызганного пола пахнет сырой глиной, мух ординарец выгнал, чтоб не будили; только одна жужжит где-то под потолком. Я лежу и прислушиваюсь к своим новым ощущениям. Странно, их почти нет. Наверное, потому, что я просто еще не знаю, как должен чувствовать себя командир батареи.

Я откидываю ногами шинель, потягиваюсь на сене – простыня уже сбилась, – зеваю до слез. Отдаленно бухает за Днестром оружие. По звуку – немецкое ста пяти. Босиком иду к столу по глиняному полу, наливаю из кринки молока – оно даже желтое, такое жирное, – пью с пшеничным хлебом.

Все же хорошо быть комбатом. Был бы я сейчас взводным, нужно было бы бежать докладывать, а теперь можно не спешить. Хоть маленький, а хозяин. Одно неприятно, предстоит разговор с командиром огневого взвода Кондратюком.

Кондратюк старше меня и годами и по службе. Он еще до войны окончил Одесское артиллерийское училище и до сих пор – лейтенант. Он по-крестьянски кряжистый, ноги кривоватые, сильные, сапоги носит сорок пятый размер. Широкий не столько в плечах, как в бедрах и в талии, и очень силен. Ему уже двадцать пять лет, но, глядя на него, ясно представляешь себе, каким он был в детстве, парнишкой еще.

Есть люди, которых просто невозможно вообразить детьми. Словно они такими прямо и родились на свет: значительными, солидными, лысеющими, с установившимися манерами и походкой. Словно они никогда не пачкали пеленок, никогда их не звали: Петечка, Вовочка, а уже в детстве величали Петром Георгиевичем, Владимиром Авксентьевичем... Кондратюка же видишь. Был он, наверное, сопливый, уши оттопыренные (они оттопырены и сейчас), и говорит он не «ушами», а «ушиками»: «своими ушиками слышал...», передний зуб сколот косо, волосы на лбу торчат вверх, словно их корова языком лизнула. Вот уж действительно, у кого чего нет, тому именно этого хочется. Носить бы Кондратюку волосы назад, раз они сами туда указывают, так нет, старательно зачесывает костяной расческой набок, а уже через минуту на затылке и на лбу они у него торчат.

Я даже не понимаю толком, почему к нему никто не относится всерьез. Он самый старый в полку (да что в полку – во всей армии), самый старый командир взвода. Всю войну командует взводом. За этот срок на фронте взводного либо успевают убить, либо он становится генералом. Ну, старшим лейтенантом на худой конец. Кондратюк все в тех же чинах.

Его прислали к нам в сорок первом году, когда мы еще стояли на формировке. А он уже прибыл с фронта, из разбитого, попавшего в окружение пушечного полка большой мощности. И все первые дни Кондратюк рассказывал нам о фронте. О бомбежках, о немецких танках с крестами, об автоматчиках, лезущих сквозь огонь, о том, как «мессера» на дорогах гоняются за каждым человеком. За ним тоже гонялся вот так «мессершмитт». Кондратюк в кювет – «мессершмитт» крутит над кюветом. Кондратюк в рожь – и «мессершмитт» в рожь, поливает из пулемета. «Кубики увидел у меня на петлицах, не дает житья. Что так, что так – конец приходит. Тогда я тоже разозлился, выхватываю наган и с третьего патрона снял его».

И вместе с этим несчастным «мессершмиттом», сбитым с третьего патрона, рухнул и вдребезги разбился весь фронтовой авторитет Кондратюка. Сколько раз уже собирались назна-

чить его командиром батареи, но в последний момент обязательно передумают. Не везет человеку. И вот теперь тоже назначили не его, а меня, и мне придется разговаривать с ним и с этого первого разговора твердо расставить все по местам.

А в общем, чего это я с утра буду портить себе настроение? Успею еще вызвать и поговорить: война не сегодня кончается. Я наливаю второй стакан молока. Снова бухает орудие за Днестром. Ложусь на кровать и, лежа на спине, курю и прислушиваюсь. Не к орудийной надоевшей стрельбе, а к непривычным мирным звукам деревенского утра. Где-то с хрипотцой прокричал петух. Жив, уцелел на войне. С такими голосовыми данными очень просто в борщ попасть.

На Украине у одной хозяйки видел я петуха, который пережил немцев. Утром взлетал на плетень, бил себя в грудь крыльями, но молча. Так что даже непонятно было, в каком смысле бил он себя в грудь. И сейчас же опрометью кидался под сарай. Сколько раз немцы лазили туда за ним, но так и не нашли. Только начихаются от пыли и лезут обратно. И до того прочно засела в нем эта привычка не кукарекать, что немцы ушли, а он и после них не подает голоса. Старуха не нахвалится: «Такий розумный, такой розумный, ну як людына». Словом, всем хорош петух, только кур не топчет. И куры отчего-то к нему не идут. И старуха, хваля и вздыхая, бесславно прирезала петуха на лапшу.

Этот, по всему видно, решил лучше жизни лишиться, но не бросить кукарекать. И кукарекай себе на здоровье!

С улицы несется веселый утренний звон молотка по железу. Даже здесь, в сумеречной комнате, чувствуется, что за окном яркое после дождя утро. Когда ветром отдувает одеяло, плоский солнечный луч, пронзив сумрак, упирается в печь, и побелка вспыхивает. Табачный дым сразу же устремляется по лучу в щель окна.

Из-за дома слышны голоса разведчиков, смех. Смех почему-то женский. Странно. На двадцать пять километров от Днестра нет мирных жителей. Откуда женский смех?

Я еще некоторое время курю лежа, но мне это уже не доставляет удовольствия. Потом вовсе становится скучно валяться здесь одному. Одеваюсь, натягиваю гимнастерку. Она еще влажная на швах и пахнет каленым утюгом. Панченко старался спозаранку. И стоячий воротник тоже влажен и тесен, когда я застегиваю пуговицы.

В сенях сухо и жарко, солнце бьет из-под выщербленной двери. Глиняный пол, стертый деревянный порог и вся дверь – в солнечных полосах. Я распахиваю ее и зажмуриваюсь: после сумрака глазам больно от солнца. Белая слепящая стена дома, желтый песок, зеленая листва деревьев в сверкающих каплях и синее летнее небо над головой. В воздухе жарко и влажно от земли. Парит. На непросохшем песке еще не затоптанные следы крупных капель.

Издали вижу за домом двух военных девчат в погонах младших лейтенантов. Сидят на завалинке. Вот отчего тут собрался весь взвод! Одна из девчат – полная блондинка с большой грудью. Лениво улыбаясь, она вполуха слушает Саенко: при ее достоинствах и это – награда. А тот, ерзая и оглядываясь, что-то шепчет ей, блестя всем лицом. У другой живые черные глаза, крупная родинка на верхней губе и вместо пилотки – синий берет со звездочкой.

Я почему-то сначала подхожу не к ним, а к Васину. Босиком, в летних галифе, завязанных у щиколоток, в синей майке – тело у него белое, молодое, здоровое, а шея и кисти рук коричневые от загара, – он оседлал железный лом на табуретке и вдохновенно стучит по нему молотком, что-то сгибая из жести. На земле уже стоят несколько жестяных кружек: совсем маленькая, больше, больше... Дорвался до работы. Когда он все это успел сделать? Я беру с земли самую маленькую кружку, верчу ее в руках.

– А это зачем?

Васин подымает от работы веселое, все как в росе, лицо.

– Норма. Сто грамм. Чтоб старшина не обмерил.

И смеется:

– Был обрезок, я и согнул. Чего жести пропадать зря?

Я верчу кружку в руках, рассматриваю внимательно: и дно и внутри. В душе я завидую развязности Саенко. И девушкам, наверное, с ним легко.

– Вот это и есть начальство, из-за которого нельзя шуметь? – громко спрашивает младший лейтенант с родинкой. Черные насмешливые глаза смотрят с вызовом.

Сейчас надо бы на лету подхватить этот тон, брошенный мне, и тогда все будет легко и просто. Но у меня с детства неприятная особенность, с которой я не могу справиться: я краснею. Причем всякий раз невпопад и даже, бывает, неожиданно для самого себя. Краснею так мучительно, что вокруг всем делается неловко. И сейчас вдруг чувствую, что могу покраснеть. И сразу теряю уверенность. Я беру с земли вторую кружку, хмурясь, строго осматриваю ее, словно принимаю у Васина работу. Глупо, ну глупо же! Васин смотрит на меня, ждет. И все смотрят на меня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.